

В начальных школах 70–80-х годов прошлого столетия учились читать и писать по книгам Ушинского «Родное слово». Книг было три. В двух первых – материал для чтения, пересказа, бесед, заучивания наизусть; третья книга – учебник грамматики.

Понятно, что такой выдающийся представитель русской педагогики, каким был К. Д. Ушинский, в своих книгах отводил большое место и народному творчеству и творчеству нашего гениального поэта А. С. Пушкина. Третья книга «Родного слова» даже полностью опиралась на одно произведение Пушкина, на сказку «О рыбаке и рыбке».

Наряду с пушкинскими стихами в книгах имелись и такие, что пишутся для хрестоматий по специальному заданию. Они тоже делались, как говорится, «без нарушения просодии», но тонкое восприятие ребенка все-таки улавливало в них что-то фальшивое. Об одном из подобных стихотворений вспоминает А. М. Горький в «Детстве»: «Большая дорога, прямая дорога, простора немало взяла ты у бога...».

«Я возненавидел, – говорил Горький, – эти неуловимые строки и стал, со зла, нарочно коверкать их, нелепо подбирая в ряд однозвучные слова; мне очень нравилось, когда заколдованные стихи лишались всякого смысла...

Дорога, двурога, творог, недорога...».

Встречались в книжках «Родного слова» и слащавые стихи, которые в мужской школе рабочего поселка вызвали недоверие даже у первоклассников.

– Вишь, поэт! Разевай рот, – пряников насыплут!

Первым пушкинским стихотворением для меня было «Утро». Потом выяснилось, что и до этого я со своими сверстниками распевал пушкинские стихи, но не знал, кому они принадлежат. На этот раз запомнилось не только стихотворение, но и его автор. Оно оказалось даже событием, которое запомнилось на всю жизнь.

Было это, помню, во второй половине учебного года, после святочных каникул. Точно это пришлось на январь–февраль 1887 года. Мы – ученики 1-го отделения школы – к тому времени научились «складывать слова» и теперь усиленно упражнялись в чтении. Одним из видов упражнения было чтение стихов, которые тут же заучивались наизусть. Считалось, что такое чтение содействовало укреплению навыков в схватывании глазом целых слов. В то же время это было и упражнением памяти, чему в старой школе придавали большое значение.

Заучивание стихотворений начиналось, как водится, с объяснения непонятных слов и выражений. Порой на это требовалось немало времени. Взять хоть ту же «дорогу-дворогу», где надо было втолковать выражения вроде «широкою гладью, как скатерть, легла» и т. д.

Стихотворение «Утро» удивило тем, что там вовсе не потребовалось никаких объяснений. По вопросам учителям и составили такую оценку стихотворению: «В нем все говорится по порядку, потому оно само запоминается да еще как-то веселит».

Эта оценка подтвердилась и на деле. Большинство запомнило стихотворение с первой читки.

Когда даже самые слабые ученики запомнили стихотворение и «бойко читали по знакомому месту», учитель сказал, повторяя нашу оценку:

– В том и дело, что у Пушкина все понятно, «все говорится по порядку» и все «само запоминается». Так и знайте, что нет и не было у нас писателя ближе, роднее и больше, чем Александр Сергеевич Пушкин. Сегодня вот как раз исполнилось пятьдесят лет, как его убили, а не кто вровень с ним не стал и станет ли – неизвестно.

Учитель держал на строговато, не любил, чтобы «высовывались» с вопросами, когда нас не спрашивают, но на этот раз не сделал замечания, когда со всех сторон послышалось:

– Кто убил? Где убил? Как убили? Почему? Что сделали с теми, кто убил?

Учитель рассказывал о дуэли и последних днях Пушкина и угрюмо добавил:

– Подрастете, сами узнаете, что дуэль подстроена была. Большому начальству неугоден был Пушкин, – его и подвели под пистолет, а того чужеземца, который Пушкина убил, выслали домой. Все и наказание ему было в этом.

Такой осталась в моей памяти пятидесятая годовщина смерти великого поэта.

Был необычный урок, запомнившийся на всю жизнь, – и только. Никаких других напоминаний о годовщине смерти Пушкина по заводскому селению не было, хотя селение это насчитывало свыше десяти тысяч жителей. По старым меркам это считалось в ряду уездных городов. В поселке было три школы и даже клуб для конторских, где изредка давались «представления для простого народа». Теперь после святок этот клуб оказался закрытым до пасхи, а в школах, как мы узнали, даже не было упомянуто о годовщине смерти Пушкина.

Когда я об этом рассказал дома, отец пояснил:

– Так ведь ваш то Александр Осипыч из таких... за народ которые... Такой, небось, про Пушкина не забудет. А по тем школам учительки есть из управительской родни. Они, поди, пикнуть боятся про Пушкина, потому, ясное дело, убило его начальство. Я еще когда на военной службе был, слышал об этом. Вчера картину вон показывали. С Трофимовой улицы один приносил. Так там сразу видно, что военные были подсланы, чтоб Пушкина застрелить.

С этого времени, с пятидесятой годовщины смерти, стихи Пушкина стали для нас, школьников, особо приметными. Каждое новое стихотворение продолжало удивлять тем, что не требовало никаких объяснений: «само понималось» и «само училось». Не забывался и разговор о том, что «Пушкина убили» и что в других школах об этом даже не говорят «из-за управительской родни». Выходило, что Пушкин «в роде политики», то есть тех людей, которых особо не любит начальство и о которых говорить надо с оглядкой. Это, однако, никак не укладывалось в ребячьем понимании – почему же тогда печатают стихи Пушкина. Казалось непонятным и другое: за что начальство не взлюбило Пушкина, у которого «всегда к веселому выйдет». Кажется, хуже нельзя: «в бочку с сыном посадили, покатили и пустили в окоян», а глядишь, волна «бочку вынесла легонько, и отхлынула тихонько», а дальше «сын на ножки поднялся, в дно головкой уперся... вышиб дно и вышел вон». Последние строки у нас были в большом ходу, когда надо было показать победный выход из трудного положения.

В детском представлении казалось просто невозможным не любить такого веселого писателя, и в силу этого возникало предположение, что Пушкин писал и что-то другое, если его так

ненавидели люди из начальства. Захотелось найти это другое, за что начальство не любило Пушкина. Однако впервые удалось получить том пушкинских стихов лишь через три года после первого знакомства с его произведениями. Получил книжку на довольно тяжелых условиях – выучить наизусть весь том. Надо думать, что библиотекарь пошутил, а я понадеялся на то, что пушкинские стихи «сами заучиваются». На этот раз оказалось не совсем так. Не знаю, что это было за издание, но помню, что было в пяти хорошо переплетенных книжках, и первый том начинался стихотворениями: «Невод рыбак расстилал по берегу студеного моря» и «В младенчестве моем она меня любила»...

Первое из этих стихотворений, при своей краткости и кажущейся простоте, оставляло какой-то неразрешенный вопрос, а второе и вовсе было сложно для десятилетнего и не очень привыкшего к литературной речи мальчугана. Заучивая наизусть, я не очень отчетливо понимал, что значит – «она внимала мне с улыбкой; и по слегка звонким скважинам пустого тростника уже наигрывал я слабыми перстами и гимны важные, внушенные богами, и песни мирные фригийских пастухов».

Такое начало, помню, сильно смутило, но, перелистывая книгу, дошел до таких поэм, как «Братья-разбойники» и «Газит». Здесь нашел того Пушкина, стихотворения которого «сами завучивались». Настроениям ребячьей героики, конечно, близко была картина, как «за Волгой, ночью, вокруг огней удалых шайка собиралась». Неотразимо действовали и такие описания:

«И с ним кладут снаряд воинской:  
Неразряженную пищаль,  
Колчан и лук, кинжал грузинской  
И шашки крестовую сталь,  
Чтобы крепка была могила,  
Где храбрый ляжет почивать,  
Чтоб мог на зов он Азраила  
Исправным воином восстать».

В этой же книге были сказки, отрывки которых мне были известны еще в начальной школе. В результате, сдавая через месяц книгу, я мог смело заявить библиотекарю:

– Вот, выучил.

В 1899 году была годовщина столетия со дня рождения Пушкина. Она тоже запомнилась. Царское правительство, как видно, не решалась замолчать эту годовщину, как это было с пятидесятилетием смерти поэта. В то же время правительство боялась студенческих и ученических волнений, которые, будучи поддержаны рабочими, могли принять в больших городах внушительные размеры. Чтоб уменьшить в больших городах число учащихся, решили применить тот же прием, что и в 1896 году, когда по случаю царской коронации был сокращен учебный год. На этот раз тоже было объявлено о сокращении учебного года более чем на месяц. Учащиеся младших классов, разумеется, этому радовались, старшие понимали, чем вызвана такая мера, но тоже «проживаться в городе без занятий» не могли, и к юбилейной дате большинство разъехалось по домам.

Мне в 1899 году было уже двадцать лет, и я готовился, как говорилось тогда, к выходу в жизнь с очень небольшим багажом среднего образования. Творчество Пушкина знал теперь гораздо основательнее и выделял на первое место совсем не то, что пленяло в детстве. Знал теперь и то, почему разных рангов «управительская родня» избегала говорить о смерти поэта. В отдельных случаях за извращенным царской цензурой текстом умел читать подлинное пушкинское слово, знал на память немало произведений и успел ознакомиться с частью тех, которые тогда ходили в рукописях.

Понятно, что при юношеской самоуверенности тех дней я склонен был считать себя достаточно сведущим в творчестве А. С. Пушкина.

С той поры прошло пятьдесят лет. За это время, особенно в начале столетия, не раз пришлось слышать утверждения, что «Пушкин устарел», что «нельзя теперь писать стихи и прозу в пушкинской манере». Какая это часть этих утверждений повторялась и в первые годы советской власти, когда грамотеи старой выучки усиленно призывали «идти вперед не от давних этапов, а от последних достижений литературы». Вскоре, однако, эти «последние достижения литературы», то есть словесные фокусы, сюжетное вихлянье и всякого рода кривлянье на пустом месте, были отброшены, а «давние этапы», в частности творчество Пушкина, стали предметом внимательного изучения.

Как живой свидетель пятидесятой годовщины смерти А. С. Пушкина, с особым волнением воспринял я ту огромную волну общественного подъема, которым сопровождалось в 1937 году столетие этого печального в жизни нации событие. Ныне, в 1949 году, работая в областном комитете по подготовке к празднованию 150-летия рождения Пушкина, вижу, что этот общественный подъем стал больше и шире. Даже в самых отдаленных районах области, не дожидаясь указаний, готовятся к проведению знаменательной даты.

Недавно вот меня умилил один знакомый колхозник. Его колхоз, как я знал, мог похвалиться близостью к сенокосным участкам, с которых почти невозможно вывозить сено в другие населенные пункты. В силу этого в колхозе и взят животноводческий уклон. Так вот представитель этого колхоза на вопрос, как предполагают отметить дату 150-летия рождения Пушкина, не без гордости ответил:

– Думаю, что не отстанем от других. Докладчиками своими обеспечены. Учителя в школе, из животноводов тоже высокограмотные есть. Пластинок, напетых на пушкинские слова, найдем. Глядишь, вечер памяти и составит хороший. А если еще кинопередвижку удастся затащить, то и лучше не надо.

Всенародная известность поэта справедливо является предметом национальной гордости каждого из нас, но, мне кажется, на особо волнует тех, кто еще помнит времена, когда о Пушкине нельзя было говорить полным словом.

А все-таки и теперь, когда появилось немало солидных работ о Пушкине, его творчество не кажется раскрытым полностью. Даже больше того, с годами начинаешь думать, что многое в этом творчестве гораздо сложнее, чем ты раньше считал.

Взять, например, «Повести Белкина», пять небольших рассказов об анекдотических случаях жизни разных слоев населения крепостной России. Написаны они так просто, что кажется, будто каждый грамотный может так рассказать. Читал ты эти «Повести Белкина» не один раз, помнишь фабулу каждого рассказа, но почему-то любой рассказ с любой строки приковывает твое внимание и заставляет читать или слушать до конца.

Говорят, что это своего рода рефлекс – воздействие усвоенного с детских, юношеских лет. Может быть, это и верно в какой-то степени, но полной правды тут нет. Что побуждает перечитывать «Выстрел», «Метель», «Станционного смотрителя», «Гробовщика», «Барышню-крестьянку»? Там как будто все ясно до предела, усвоено с первого чтения, не особенно волнует близостью темы, а читаешь с наслаждением. Что здесь больше действует? Насыщенность живой деталью, в силу чего кажется интересным даже похмельный сон гробовщика? Или, может быть, влечет внешняя простота, за которой чувствуешь ту высокую степень искусства, когда оно становится незаметным для читателя, слушателя, зрителя.

Не менее удивительным кажется у Пушкина и воплощение исторических образов, их историческая правдивость и полнокровность. В частности, особо изумляет изображение Пугачева, который, как известно, действовал среди мало знакомого поэту казачьего населения. Между тем едва ли кто станет оспаривать, что за сто двенадцать лет, прошедших со дня смерти Пушкина, наша литература не смогла дать образ Пугачева, равный тому, какой имеем в «Капитанской дочке».

А полиметалл пушкинских сказок? Разве мы знаем тайну этого сплава личного и народного творчества?

Наконец, черновые записи Пушкина. Что в них? Стремление уловить «первозданную красоту и оригинальность факта» или творческое его преобразование при самой записи?

Словом, семидесяти лет моей жизни нехватило, чтобы понять тайну творчества А. С. Пушкина.

Есть, правда, и для всего этого простое объяснение – ссылка на гениальность поэта. Гениальность, разумеется, бесспорна и несравнима, но рядом с ней у Пушкина идет и большой труд. Все мы знаем, например, что роман «Евгений Онегин» писался в 8 лет, что небольшой повести «Капитанская дочка» предшествовала большая работа в архиве и, кроме того, длительная и трудная по условиям того времени поездка на лошадях из Петербурга в Оренбург.

Это вот сторона трудовой жизни поэта и кажется мне слабо изученной, а в ней-то и надо искать ответа вопрос о пушкинском проникновении в жизнь народа, в его речь, жест, устремления и мечты.